

Александр ЛОМТЕВ
г. Саров (Нижегородская обл.)

РАССКАЗЫ

(Из книги «365. Спонтанная онтология по господину Монтеню»)

Клау стро фобия

* * *

Когда все это произошло, я не стал выживать вместе со всеми в остатках города. Все делали вид, что ничего особенного не произошло, ходили на работу, которая теперь была никому не нужна, покупали в супермаркетах отравленную еду, разговаривали друг с другом как ни в чем не бывало. Никто не хотел признаться даже самому себе, что катастрофа лишила нас будущего и человечество доживает свои последние годы. А может быть, даже месяцы. Все решили просто проигнорировать

случившееся... Больше всего меня изумляли гаишники, которые по-прежнему стояли на улицах и штрафовали водителей! Человек неисправим, человек никогда не хотел смотреть правде в глаза, прятался за свою привычку, как за броню... Но я вдруг понял, что среди этих каменных стен, сочащихся жестким излучением, среди напитанного радиацией и химией избытка на прилавках, в нервных метаниях остатков делающего вид, что все хорошо, но страшно испуганного населения стресс, излучение и химия убьют меня значительно быстрее, чем вдали от цивилизации, где-нибудь в лесной глуши. Случившемуся я совсем не удивился и не очень-то испугался. Это должно было произойти, не могло не случиться. Человечество давно шло к чему-то подобному, с упорством маньяков лепило катастрофу собственными руками. И она произошла...

И тогда я ушел как можно дальше от умирающего, агонизирующего, притворяющегося беспечным города, в сосновый бор, на берег чистой реки. Несколько дней я рубил толстые

сосны, потом скатал из смолистых стволов избушку... И начал жить один. Пусть человечество догнивает без меня...

Теперь по утрам меня будит птичий гам; летом в окно плывет сосновый дух и запах черемух, зимой доносится крик черного ворона и завыванье метели. Осенью я брожу по березовой роще, что раскинулась на косогоре за излучиной реки. Замечал ли я, как приятен шорох желтых листьев под ногами в той, прежней, жизни? Замечал ли я тот день, когда прилетал первый скворец весной, расцветал первый ландыш?..

У меня ничего нет, но мне ничего и не надо. За несколько лет я привык обходиться малым, тем, что даст возможность добыть сама природа. Что ж, человечество исчезнет, а природа останется, она не способна убивать сама себя, как это свойственно человеку. В кроне стоящей рядом с избушкой липы свили гнездо черные вороны, под крышей поселились белки, енот иногда проходит по песчаному берегу реки и совсем меня не боится. Несколько раз к моей избушке приходили медведи... Я разговаривал с ними; они слушали меня и уходили. А я даже не знаю, остался ли еще хоть один человек в покинутом мной городе; да и существует ли еще сам город. Утром солнце по-прежнему восходит на востоке, а вечером уходит за кроны сосен на западе. Последствия катастрофы еще не сказались на природе, и я часто думаю о том, как этот мир будет выглядеть лет через триста, когда последние следы человеческой деятельности зарастут дикими лесами, джунглями, поглотятся степями и пустынями. Появятся ли двухголовые медведи-мутанты или летающие киты, вырастет ли гигантская петрушка или яблоки величиной с арбуз. После такой катастрофы ждать можно всего, чего угодно... Правда, ждать и удивляться будет уже некому...

Мне хорошо. Несмотря на грусть о любимых когда-то людях, несмотря на печаль о гибели мира, о невозвратном, на душе моей покой. Что ж, человечество имело шанс прийти к своему золотому веку, но шансом этим не воспользовалось. Жадность, злоба, ханжество, неискоренимые пороки оказались сильнее души и разума... Что делать...

И если бы не видения, вызванные, очевидно, прогрессирующей лучевой болезнью, я был бы,

пожалуй, даже счастлив. Эти видения на какое-то время лишают меня душевного равновесия, вносят диссонанс в мое простое и размеренное существование. Будь эти галлюцинации не так реалистичны, я, пожалуй, даже смирился бы с ними, не обращал бы на них внимания. Но болезнь зашла так далеко, что я уже не могу игнорировать эти видения, и они терзают мою душу. Может быть, их регулярное появление и эти бесконечные разговоры, вопросы, загадочные манипуляции — наказание за те грехи, что были допущены мной в той, докатастрофной, жизни? Может быть, и всех оставшихся еще в живых людей терзают подобные белые навязчивые фигуры, возникающие ниоткуда и исчезающие в никуда... Хорошо, что времени между их появлениями все-таки достаточно для того, чтобы прийти в себя... И я жду заката, когда последние оранжевые лучи солнца, пробив пестрые кроны сосен и старой липы, упадут на пол моей избушки, жду, когда золотой квадрат света из окна начнет краснеть и тускнеть, жду угасания дня, чтобы лечь в чистую свежую постель, положить голову на белоснежную подушку, завернуться в пахнущее крахмалом одеяло и сладко забыться. Уснуть, не ведая, удастся ли проснуться завтра или все наконец кончится...

— Думаете, лечение не поможет?

— Думаю, нет. Шизофрения выстроила такую стену между реальностью и его новым миром...

— Бедняга...

— Не знаю, не знаю. Иногда я думаю, что ему там гораздо лучше, чем нам здесь... Он никому ничего не должен, тихо существует себе, зная, что человечество доживает свои последние дни и поделаться с этим уже ничего нельзя... Этой решетки на окне для него не существует... Он слушает птиц, с медведями разговаривает, грустит светлой грустью, засыпает под шум ветра... Мне и самому порой кажется, что в его палате пахнет сосной, а по утрам кукуют кукушки...

* * *

Ему за восемьдесят. Он смотрит в окно. За окном ночь, дождь, осень, за окном на поублетевших ветках мокнут последние ябло-

ки. За окном млеет в предзимней дреме глухое мордовское село. Пахнет печным дымом и предчувствием снега. Когда-то, когда он был совсем маленьким, отец сказал: каждый серб должен побывать хоть раз в России! Слова эти отчего-то запали в душу, и он всю жизнь мечтал побывать здесь, в России. В какой-нибудь маленькой деревеньке с деревянными домами, с белой церковкой на косогоре, с погостом при церковке, со стогами, в доме с русской печкой, среди простых деревенских людей, чтобы стояли на столе тарелки с картошкой, с солеными огурцами, с грибами; чтобы его угошали настоящим самогоном и чаем из самовара... Ах, как ему хотелось бы, чтобы давно ушедший из этого мира отец как-нибудь смог узнать, что сыну довелось-таки сюда приехать...

Порой он сам удивлялся, сколько отпустила ему судьба. Европа казалась ему теперь такой маленькой. История мира была его историей. Сербия, Франция, Германия. И вот теперь — огромные просторы России, к которой его всегда тянуло и в которую он никогда не надеялся попасть. Человеку, сбежавшему от Тито, даже после охлаждения дружбы между СССР и Югославией в Советский Союз въезд был заказан.

Он берет стакан с мутноватым содержимым и говорит:

— Я всегда поднимаю один необычный тост. Мы выпьем, а я потом расскажу, — он поднимает граненый стакан с мордовской самогонкой. — За паука!

Мы, морщась и крякая, выпиваем, и он рассказывает нам про паука.

— История сделала полный оборот. Круг. В жизни моей все начиналось с бомбежек — бомбежками все и заканчивается... Когда я был маленьким, Сербию бомбили немцы, у меня, тихого «домашнего» мальчишки, на глазах убили серба на нашем заднем дворе, потом пришли советские. А теперь, под занавес моей жизни, когда я осел в Германии, я смотрел по СИНН бомбежку Сербии НАТО.

Мне было шестнадцать, когда я бежал из Югославии во Францию; я участвовал в студенческих беспорядках, вновь бежал — в Германию, в Западную, само собой. Занимался

живописью, влюбился и надеялся на счастье, но остался один. И вот тебе уже тридцать, и ты один, и не можешь вернуться на родину, и сердце гложет тоска о покинутой девушке, а до тебя никому в целом свете нет никакого дела. Мне было очень грустно. Очень.

Я уехал на Адриатическое море. Жил на берегу в домике на краю виноградника, бродил по холмам вдоль бухты, иногда купался, порой лежал на горячих белых камнях и думал о жизни, о людях, о прошлом и будущем. И вот однажды я сидел в тени виноградной лозы; и тут увидел этого паука. Большой такой, красивый, яркий паук. Сначала он прятался, но я сидел тихо, и он выглядывал из-под листьев и, застыв, смотрел на меня. Вокруг под камнями было полно мелких бледных скорпионов. Я поймал одного и, насадив на жесткую травинку, протянул пауку. И тот схватил скорпиона и унес в гущу листьев. Я ждал, но паук больше так и не появился. Зато на следующий день паук ждал меня в том самом месте, и я снова поймал для него скорпиона. Каждый день он ждал моего прихода. Мы подружились, я кормил его скорпионами, разговаривал с ним. Паук перестал убежать и внимательно слушал, и мне казалось, что я хоть кому-то на планете стал близок и дорог. А вы знаете, между прочим, что паук делает 200 тысяч разных сложных движений. Это все равно как если бы у человека был словарный запас в 200 тысяч слов. Это значит, паук очень интеллектуальное животное. Паук красивое, полезное и умное животное, нужно просто приглядеться, понять его мир. И, познавая его мир, вглядываясь в его жизнь, я как-то легче и проще стал относиться к самому себе.

Дни шли один за другим, душа моя стала входить в берега, я успокаивался, тоска наставлялась в светлую печаль, а печаль постепенно таяла, как летнее легкое облачко...

Наконец пришло время уезжать. Я пошел попрощаться со своим пауком. Но, представляете, под камнями у виноградника не оказалось ни одного скорпиона. В пакете у меня лежали бутерброды, и я решил посмотреть, чем можно угостить друга. Я склонился над виноградным листом, а паук, привычно приподнявшись на задних лапах и выставив передние, ждал подарка. И тут с помидорки на бутербро-

де на виноградный лист капнула большая капля оливкового масла. Паук бросился на каплю и схватил ее. Он схватил ее, потом высоко подпрыгнул — и умер! Я подул на него, стараясь освободить от масла, даже взял его за лапку и легонько потряс. Бесполезно — паук умер.

Я смотрел на мертвого паука и чувствовал, что жизнь ударила меня под дых. И я заплакал, я плакал, прощаясь с пауком, с молодостью, с прошлым, с глупыми наивными надеждами, не знаю еще с чем. Но я почувствовал, что впереди меня что-то ждет, многое — и плохое и хорошее, интересное и трагическое, разное... Так оно и вышло. С тех пор в кругу друзей я обязательно вспоминаю того паучка и поднимаю тост: «За душу покойного паука!»

За столом все молчали. Дождь мерно стучал в черные окна, осень за окном с тихим стуком сбивала наземь последние яблоки. Пахло печным дымом и предчувствием снега. От печки шло сухое доброе тепло, стояли на столе тарелки с картошкой, с солеными огурцами, с грибами, мутно отсвечивал в большой бутылке ядерный самогон; и трудно, почти невозможно было бы представить себе, что где-то плещется Адриатическое море, печет солнце и шелестит широкими листьями зеленый виноградник, и скорпионы прячутся от жары под белыми камнями, если бы не задумался у окна девяностолетний человек, который увидел весь свет, несколько войн, любил и терял, мечтал и разочаровывался... И всю жизнь не мог забыть о нечаянно убитом пауке...

* * *

День был совершенно обычным. Саня ослабленно брел по весенней улице, шурился на ошалелое апрельское солнце и всем телом ощущал, что именно в девятнадцать лет начинается настоящая жизнь. Он уже забыл, что ощущал подобное в четырнадцать почти в такой же вот апрельский денёк; и не знал, конечно, что снова почувствует это и в двадцать пять, и в тридцать, и даже в сорок.

Знакомая улица, родной городок, всё равно — по улице идёшь или по коридору из кухни в комнату в собственной квартире. Из окон бод-

рое радио, на потеплевших ветвях городских тополей бодрые воробьи. «С бодрым утром!» — мысленно улыбнулся Саня, но шагу не прибавил и не взбодрился, вливаясь в общий трудовой срединедельный ритм. Быть полусонно оглушенным солнцем и тополиным клейким запахом было хорошо... К тому же теснилось в лёгких что-то непонятное, подстерегающее впереди — хорошее или плохое — не ясно.

Оно появилось буквально через десяток шагов... У тротуара остановился автобус с траурной каймой по серому борту, и водитель деловито распахнул створки задних дверей, которых не бывает в обычных автобусах. Из переулка вышли люди, и Саня невольно остановился. Несли гроб. В гробу лежал некрупный покойник с чистым, светлым, слегка небритым и очень спокойным лицом. Нос индифферентно смотрел в голубенькое небо, а губы были сжаты в тонкую, едва улавливаемую ироническую усмешку. Знаю, мол, кое-что, что вам всем еще только предстоит узнать.

Саню давно задевало это событие — смерть. Даже не сама смерть, а что-то трудно понимаемое, что она за собой влечет. И даже не так. Куда уходит то, что наполняло человека, когда он был жив, куда всё это девается — мысли, чувства, идеи, страсти. Куда? Не верилось, что всё просто исчезает. Нет, конечно, Саня не верил ни в какие загробные жизни и реинкарнации, о которых любили рассуждать некоторые его начитанные, тяготеющие к романтическому диссидентству приятели.

Люди с черными повязками ловко погрузили гроб в автобус, и через минуту улица опустела. Саня пошёл дальше. Ощущение полноты жизни не пропало, и даже не потому, что покойник из переулка был для Сани никем. Просто каким-то седьмым чувством Саня понимал, что всё это естественно и не страшно. Хоть, может быть, и слегка печально. Да и то лишь потому, что до конца непонятно...

И вдруг Саня остановился. Его осенило. Он даже и не представлял, что такое сильное чувство вообще возможно. Осенило удивительно сильно, но парадоксально спокойно, без экзальтации и какого-то особого потрясения. Но чувство было таким глубоким, что он забыл, куда и зачем шёл. Он вдруг понял, что тоже умрёт. Нет, конечно, он всегда знал это.

Но знал как-то отстранённо, холодно — умом: все умирают и он умрет. Но сейчас он понял это совсем по-другому, всем своим существом, всей душой, всем своим молодым телом. И это опустошило его, оглушило. Что теперь с этим делать? Для чего ему вдруг дали это понимание? И кто дал? Бог? Но бога нет! Или есть?!

Саня брёл по знакомой улице, не замечая ни апрельского веселого солнца, ни миниатюрной листвы тополей, ни воробьёв, митингующих на усыпанном крошками батона канализационном люке. Ему стало ясно, что для него началась новая, неведомо куда уходящая жизнь. Ясность и чистота этого дня ушла, он смотрел на город словно через осколок зеленоватого бутылочного стекла, почти ничего не слышал, потому что прислушивался к тому, что эхом отдавалось в груди и в голове после того короткого озарения...

...Через несколько дней Саня уволился с работы, тайком сжег в ванной комсомольский билет, выбросил студенческий своего заочного и уехал из города; и только через год его городские приятели узнали, что Саня поступил в семинарию. Шёл тысяча девятьсот семьдесят девятый год...

* * *

Я человек мягкий, как говорится, бесконфликтный. Но всему есть предел. Рано или поздно нужно набраться смелости и выйти с плакатами на какую-нибудь главную площадь! Тем более что обстоятельства развития цивилизации становятся все более угрожающими!

Согласитесь, раньше снежирей было много, они китайскими фонариками весь январь порхали среди веток клена в пушистом инее. А серые юркие поползны в парке склевывали семечки прямо с протянутой руки. Радуги появлялись на небе после каждого дождя, из которых каждый второй был солнечно-грибным, и были эти радуги сочными, полноцветными и яркими. Красота жила в мире естественно и непринужденно, как детство...

А теперь обратим внимание на ужасающие факты: теперь снежирей редко увидишь на городских деревьях; поползны боятся человека, а фальшивое подобие радуги если и появится

ненадолго бледным изгибом в обрывках облаков, редко когда спустит свои босые ноги в цветастом сарафане до самой земли.

Что-то происходит. Что-то делает мир однообразным и унифицированным. Глобализация упрощает существование человечества, а заодно упрощает и само человечество. А упрощенному человеку какое дело до снежиры, до черноглазого поползны, до веселой радуги, показывающей, где остались еще последние клды на земле?

Рано или поздно я выйду на какую-нибудь центральную площадь с большим плакатом в руках: «Дальнейшая глобализация общества ведет к дальнейшей дебилизации населения! Все на защиту радуги!»

Вот увидите, я выйду на площадь, даже если рядом не окажется никого, кроме санитаров психиатрической больницы...

* * *

— Экипаж, внимание! Приготовиться к маневру! Двести двадцать вольт по Кельвину-Цельсию, девятнадцать градусов вертикально по градиенту, семьсот килолитров в метр. Тонгаж — полста-три-ампер на сантиметр квадратный. Усилить тягу горизонтальной вертикали! Подать кислород на турбины квадратуры круга. Пробить склянки по периметру синусоиды! Ускорить скорость ускорения скоростной конвертации ускорителя быстрых нейтрино; какой же русский не любит быстрой езды?!

— Сидоров, на укол!

— Внимание, опасность! Экипаж, приготовиться к перегрузке! Перегрузиться из второго отсека в отсек Е-2 — Е-4 по геометрической прогрессии Парацельса. Без давки, в порядке триангуляции. Ускорить реакцию Вассермана!!! Эх, куда ты мчишься, тройка-Русь?!

— Давай быстрее, псих, а то доктору пожалуюсь!

— Внимание, переключаю на автопилот, переключаю на автопилот! Бегу, Мариванна, уже бегу, не надо доктора, бегу...

Простые люди

* * *

— Да-а-а, Москва — это вам не наша глушь, там культура... — после первой-второй рюмки разговор всегда заходил о столице. И начинал этот разговор старший брат. — Одна архитектура чего стоит! Я уж не говорю о театрах. Когда мы с Анастасией в прошлом году ездили в Сочи, на два дня специально задержались в Москве...

И старший брат долго и подробно рассказывал, какое незабываемое впечатление произвел на них с женой поход в Большой. А Анастасия качала в согласии головой и поддакивала...

Выпивали за Москву, за культуру... Потом и средний брат делился впечатлениями от поездки в столицу. У его супруги в Москве жила родня, и он и сам себя считал едва ли не столичным жителем, хотя и жил в городке почти безвыездно, а курорты считал баловством и пустой тратой денег. Однако и он много интересного мог рассказать о культурной жизни первопрестольной. И рассказывал...

Ну вот просто как в сказке у них случилось: было у отца три сына — два брата умных, а третий Алёшенька. Как-то не задалась судьба. У братьев и образование, и жены интеллигентные — библиотекарша и бухгалтерша, а у Алёшеньки — простая швея. Да еще куча детей. Да четыре класса образования. Но что интересно, праздники справлять благополучные братья предпочитали у него, у Алёшеньки. И мать, когда слегла, к старшим братьям не поехала, стала доживать у меньшого...

Да и то сказать, хоть братья и куда как богаче жили, а на столе у Алёшеньки пусто никогда не бывало. Вроде и не было ничего такого, что выставляли братьёвы жены, когда изредка праздновали у старших, ни ветчины, ни вин дорогих; однако селедочка, тщательно чищенная, с луком, да картошечка разваристая, с маслицем топленным, толкушкой растоптанная, да огурчики-помидорчики, собственноручно женой заготовленные, да капуста, тушенная с мясом, да квашеная хрустящая с яблочками мочеными — все не магазинное, все со своего огорода. А грузди, собственноручно собранные в осенних пригородах, под рюмочку; а пироги под холодное молочко — горячие, пышные, невесомые во рту, да весомые в желудке... Братья ели да нахваливали: эх! Как бывалоча в родной деревне у маменьки...

Алёшенька любил такие застолья — и разговоры, и дружные песни, и гостей, а больше всего — родню; он с удовольствием смотрел на братьев и тайно гордился и ими, и их благополучием, и культурой, и умными разговорами про Москву.

Сам-то он в Москве бывал всего два раза. Последний — когда ему неожиданно выделили в профкоме путевку в Судак. Не Сочи, конечно, да еще и в марте, а все ж таки... Тогда у него был почти полный день между поездами, и Москву он посмотрел хорошо. И в трамвае, и в метро покатался, и по улицам побродил, и на ВДНХ побывал, и на Красную площадь, естественно, съездил. Но чем тут похвастаешься... А первый раз и вовсе... Алёшенька вместе со всеми опрокинул рюмочку прозрачной и вдруг задумался. Да-а-а, тот раз не забудется Алёшеньке, наверное, никогда...

Когда в марте их в подмосковной казарме подняли «в ружье», он и представить себе не мог, что произошло. Да что там, все сначала подумали — учебная тревога... И тут сообщили: Сталин умер! Все завертелось, закрутилось, словно во сне. Красная площадь где-то у Василия Блаженного, траурные ленты на знаменах, оцепление. Несколько суток без передышки, несколько суток волна за волной серые человеческие толпы. Еду им тогда проносили в баках дворами, машине не проехать; спали по очереди в кузовах. Такого моря людей Алёшенька больше никогда в жизни не видел. Порой откуда-то из переулков просачивались небольшие массы людей, шли на прорыв оцепления — все хотели попрощаться с товарищем Сталиным. Иногда их разворачивали, иногда пропускали, рассеивая.

В день похорон на их участок вдруг вывалилась огромная толпа. Шла она так мощно и неотвратно, что сразу стало ясно — не устоять. Как же он тогда испугался! Словно в ступор впал. Люди с безумными глазами наплывали лавой, и Алёшенька понял, что его неминуемо затрет в этом человеческом месиве, размажет по кузову грузовика; понимал, а не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Но за секунду до того как лава с мощным «Э-э-ххх!» ударилась о грузовики, он почувствовал, как кто-то подхватил его за ворот шинели и втянул в кузов. По гроб жизни с благодарностью будет вспоминать Алёшенька здоровяка капитана, что спас деревенского ротозея от верной гибели. И тут началось — вопли, женские визги, скрюченные руки, тянущиеся к бортам качающихся машин. На карачках Алёшенька отполз к противоположному борту, перевесился, и его вырвало... Сколько же тогда народу покалечило. Да и погибших, говорят, было немало...

Вскоре после этого их сменили, но в казармы не повезли. Велели почиститься, оправиться, построили и повели в Колонный зал — прощаться с вождем. Сколько же там было народу, сколько венков и цветов! Алёшенька кроме деревенской избы да двухэтажного военкомата в райцентре и не видел ничего до Москвы, а тут такая красота — люстры, лепнина, украшения! Как он задрал голову на все эти красоты, так с задранной головой до выхода и дошел. Батюш-

ки, а Сталин-то! И снова пожалел бестолкового парня капитан, разрешил с другой ротой еще раз пройти мимо гроба. Тут уж Алёшенька и самого Сталина разглядел, и хмурого Хрущева, и Маленкова, ой да кого там только не было... Люди мимо гроба шли, конечно, хмурые, многие плакали, даже фронтовики...

Потом привели их в какую-то гостиницу, и тут кто где, кто в холле, кому повезло, в комнатах, а кто и прямо на лестнице — вповалку повалились и часа три отдыхали. А потом покормили их очень сытно и уж тогда — в казарму... Да уж, было дело...

— Алексей, а ты ведь тоже в Москве бывал, — сказала вдруг жена среднего брата, — понравилась тебе столица?

Алёшенька словно из пруда вынырнул из своих воспоминаний, улыбнулся:

— Как же Москва может не понравиться... Понравилась... Я где только там не был... Там недалеко от Казанского, ну, если из главного входа налево и потом по переулку, отличная закусочная есть... — Алёшенька, уже начиная говорить, понял, что не то говорит, да остановиться уж не мог. — Сосиски там... дешевые... а вкусные...

Гости стусевались, но заулыбались, старший брат загремел бутылкой, разливая по рюмкам. А братьёвы жёны переглянулись иронично — «Алёшенька», мол...

Пели песни, вспоминали родную деревню, ставили детишек по очереди на табурет — читать стихи, Алёшенька играл на гармошке. Разошлись, как всегда, за полночь, когда соседи стали деликатно постукивать по батарее...

Ночью Алёшеньке приснился товарищ Сталин. Он поднялся из гроба, подошел к оробевшему Алёшеньке, положил ему на плечо тяжелую руку и, обращаясь к пришедшим проводить его в последний путь соратникам, сказал:

— Вот на таких простых солдатах держалась и держаться будет наша советская Русь!

И все бурно захлопали...

Алёшенька проснулся с совершенно пересохшим горлом, он поднялся, на цыпочках прошел на кухню и прямо из-под крана напился ледяной воды. На обратном пути заглянул в комнату к сыновьям. Ребятишки мирно

спали, младший, растрюхав губенки, тихо посапывал и улыбался чему-то во сне. Сердце Алёшеньки наполнилось влажным теплом. Васенька, младшенький, любимый...

* * *

Мир сильно изменился. Очень сильно. Вот, например, пропали юродивые. Дураки, маньяки, нищие, бесноватые остались — этих маньяков и бесноватых по телевизору сколько угодно показывают, а юродивых больше нет. Вымерли как вид. А я еще застал времена, когда они изредка встречались. В середине двадцатого века...

В деревеньке, где жили мои бабушка с дедом, жил, может быть, последний юродивый России. Ну уж в наших краях последний — точно! Классический такой юродивый: ходил в обносках, зимой и летом босиком, в сумку собирал все что ни найдет или что подадут. Не попрошайничал, был добрым и разговорчивым. И все время не расставался с самодельным веревочным кнутом, за что и был прозван Саня-кнут.

Дед мой, когда сильно сердился на меня за детские мои не всегда разумные проделки, говорил в сердцах:

— Да у тебя понятия меньше, чем у юродивого! Вырастешь, будешь как Саня-кнут с голым пузом ходить.

Как и положено юродивому, был Саня-кнут истово верующим. И была у него мечта: попасть на камушек Серафима Саровского. Саровский монастырь в те годы уже оказался за колючей проволокой; поселок, что был под его стенами, облюбовали ученые и военные, которым родиной было поручено создать атомную бомбу, чтобы ответить на бомбу американскую и спасти мир от войны. За колючей проволокой в три ряда, контрольно-следовой полосой, вдоль которой ходили солдаты с овчарками, оказалась и Дальняя пустынка, где Серафим вершил свой главный подвиг. Так что мечта попасть туда была из области несбыточных.

Но не зря старые бабушки говорят: вера сотворит любое чудо. Невероятно, но факт: на серафимовских местах Саня-кнут побывал!

Как-то в июле он вдруг из села пропал. А че-

рез месяц его привезли на военном «газике», провели в правление колхоза, а потом опять посадили в «газик» и увезли. Вевочный кнут, как заметили немногочисленные свидетели происшествия, был при Сане... После этого юродивый сгинул окончательно...

И только годы спустя тайное стало явным.

В то лето Саня-кнут во что бы то ни стало решил попасть в секретный город и пробраться на Дальнюю пустынку. Он всю весну и весь июнь бродил вдоль колючей проволоки и выискивал лазейку. Безрезультатно. Один раз в него даже стрелял узкоглазый темнолицый солдат — то ли киргиз, то ли якут. Но не попал.

И вот в конце концов Саня набрел на железнодорожную ветку, по которой в закрытый Саров по ночам ходили время от времени составы. Тут он и понял, как проберется в город. Выждав, когда на станцию пригнали состав с лесом, он нашел платформу с самыми большими бревнами и ухитрился пробраться в щель между стволами. Конечно, там его непременно должно было раздавить во время движения. Но не зря в народе говорят, что Бог заботится о дураках, пьяных и Соединенных Штатах Америки. Поскольку юродивый сродни дураку, Бог, видимо, пожалел Саню, и его не раздавило бревнами, не унюхали овчарки, не проткнул длинным железным штырем солдат на КПП. Когда состав пришел на товарную станцию Сарова, была еще ночь, и Сане удалось незамеченным выбраться из бревен и так же не обнаруженным уйти со станции.

Недели полторы он жил в самодельном шалашике на Дальней пустынке, которую нашел без труда по рассказам богомольных стариков из нашего села, еще помнивших, как их в детстве водили на поклонение мощам Серафима и в монастырь, и на пустынку. Однако, когда кончилась принесенная в котомке еда — хлеб, печеная картошка и печенье же яйца, пришлось идти в город. Тут, в городе, его и замели. Для интеллигентных жителей научного Сарова в диковинку оказался грязноватый человек в рубище и с кнутом на плече, который стоял у магазина и ласково просил хлебушка. КГБ в те времена работал шустро. Саня-кнут был моментально задержан, доставлен куда следует, и кто следует его допросил. Долго не решались поверить, что оборванный человек не американский или, на

худой конец, английский шпион. Несмотря на то что Саня-кнут подробнейшим образом описал, как проник в город, показал шалаш, в котором жил, и рассказал, кто он и откуда, саровские рыцари плаща и кинжала долго отказывались признавать реальность его истории и усердно строили версии шпионского направления, допрашивая его, как инквизиция Коперника. Саня, однако, всем улыбался, ничего не боялся, охотно и многословно отвечал на все вопросы и вышел из себя лишь однажды, когда кГБшники отняли у него кнут. Он так орал, рыдал и колотился в судорогах, что кнут ему вернули и больше отнять не пытались.

В конце концов Саню посадили в «газик», привезли в село и предъявили правлению колхоза с председателем во главе для опознания. Со шпионской версией кГБшникам пришлось-таки с большим сожалением расстаться...

Куда увезли Саню, так никто и никогда не узнал. Говорили только, что, садясь у крыльца правления в кГБшный «газик», Саня-кнут беспечно и счастливо улыбался. Еще бы, его несбыточная мечта сбылась. «Газик» повез его в неизвестном направлении, а оказавшиеся около правления случайные старушки тайком крестили воздух ему вслед...

С тех пор ни одного юродивого в наших краях никто никогда не видел.

* * *

Дядя Вася жил в соседнем подъезде, в «двушке» на втором этаже. Было ему под шестьдесят, он любил свою работу и рыбалку, боялся заболеть алкоголизмом и свою жену. И хоть был простым фрезеровщиком, но любил выражаться фигурально и философски. По утрам, когда мы время от времени сталкивались в подъезде, он мог взять меня за пуговицу и неожиданно сказать:

— Жизнь просто-таки кишит парадоксами. Например: круглый дурак рождает плоские мысли.

Мы сидели на скамеечке под старым дворовым тополем и наблюдали. По двору, истошно квохча, вперевалку бежала курица, за уворачивающейся курицей веселой припрыжкой нес-

ся пёс жильца из седьмой квартиры художника Аполлонова, за псом, неловко спотыкаясь, семеня сам Аполлонов, за художником с прутьяной метлой мчалась хозяйка курицы Анна Ивановна. Смотреть на это было забавно.

— Вот упрощенный пример нашей жизни, — прокомментировал происходящее дядя Вася. — Все бегут, много азарта, шума и энергии. Но зачем? На самом деле Джеку курица не нужна, Аполлоныч её покормил, и она сыта. Аполлоныч знает, что Джек курицу не съест, но ему неудобно перед Ивановной. И Ивановна знает, что пёс курицу не съест, но её раздражает интеллигент-художник, который ни хрена не работает, только картинки малюет, а деньги загребает лопатой, и пёс у него мясо жрёт...

Курица наконец ухитрилась проскочить в щель под дверью сарая, пёс удовлетворённо гавкнул и побежал спасаться от наигранного гнева хозяина к его жене, а Анна Ивановна, стукнув метлой по дворовой пыли, вроде бы про себя, но так, чтобы слышали все, пробормотала:

— А еще очки носят... тгтелиганы...

Двор сонно затих. Мы помолчали. Потом дядя Вася вздохнул:

— Да-а, жизнь тянется до-олго, а пролетает в одно мгновенье...

* * *

Эх, хорошо нагреть в родную деревеньку, хоть на денёк. Ласточки кричат над головой, пудики в пыли то ли ссорятся, то ли играют, крапивою пахнет и смородиновым листом вперемежку с баннным дымком. Тётя Маня навстречу бредёт задумчиво.

— Тётя Мань, ты что задумалась?

— Да вот, тапки купила, хороши тапки, тока они мне малы.

— А ты зачем купила малы-то?

— Ну... Велики-то у меня уже есть!

* * *

Лето. Огурцов уродилось! Девать некуда. Иду по селу; в проулке среди тазов и банок тетя Маня.

– Тётя Мань, чего делаешь?

– Да вот огурцы солю. Огурцов-то ноне – не знай куда девать... Не выбрасывать же...

Постояла, посмотрела на горки огурцов в тазах и, разведя руки, вздохнула:

– В крайнем случае, солеными выбросим...

* * *

— Слушай, вот ты говоришь: народ, народ, простые люди... Нужно, чтобы им было хорошо, простым людям. Я за! Но как?! Куда деться от эффекта маленького человека? Маленький человек был, есть и будет вечно. И ему всегда будет неудобно на белом свете... Не знаю, откуда они берутся, маленькие люди. У Гоголя бы спросить, да уж не спросишь. И жалко их – мочи нет, и помочь им невозможно. Время от времени столкнешься с таким Башмачкиным, и весь день печаль на душе. На днях ко мне забрел такой.

Он осторожно приоткрыл дверь:

– Можно?

– Входите.

Он вошел, молча встал у двери и принялся разглядывать кабинет. Он молчал, и я молчал – ждал, что скажет. Мужичок лет тридцати с лицом разочаровавшегося в цирке клоуна, в мятом пиджачке и нечищенных ботинках. С жалобой, что ли, пришел? Наконец, прервав затянувшуюся паузу, спрашиваю его:

– Что вы хотите?

– Мне бы к вам на работу.

– На какую?

– Ну, я по сантехнике там, слесарное, немного электрику, машину водить умею... В крайнем случае сторожем...

– Да ведь сантехник-электрик нам не нужен, а вакансии сторожа у нас нет.

Он не двинулся с места, продолжая разглядывать кабинет. И я повторил:

– Нет, говорю, у нас вакансий...

Он повернулся в мою сторону, но глядел на полметра мимо, как бы не решаясь встретиться взглядом; помолчав, сказал:

– Мне это... Мне не вакансию, мне бы на работу устроиться...

В общем, потоптался-потоптался и ушел, а я

остаток дня все работать чего-то не мог, все рисовался мне этот Башмачкин нынешних времен. По виду вроде не алкоголик, сантехник, опять же... Как же он без работы остался? М-да... Что-то некстати вдруг подумалось: это верно, что вся русская литература вышла из гоголевской «Шинели». А маленький человек из шинели так и не вышел. И пусть порой в кармане этой шинели позванивает дешевенький мобильничек, хозяин ее все тот же Акакий Акакиевич...

* * *

Вася и Тоня жили в общежитии, не расписываясь. А зачем? Детей у них пока не было, да не очень и хотелось. Пока молодые, надо погулять. Ну и гуляли. То Вася самогонки из родной деревни привезет, то Тоня водочки с пивком купит с аванса. Не сказать, чтобы уж очень пьянствовали, все же работали оба. Он дворником, она продавцом в киоске. На жизнь хватало. Но выходные – святое. Как в выходные не гульнуть? Да что же еще делать? Не книжки же читать, смешно, ей-богу...

Ну, иногда ссорились, дрались даже. Но потом мирились.

Однажды Вася застал Тонию в комнате с чужим мужчиной. Раньше времени с работы вернулся и застал. Мужчину он побил и выгнал, а Тонию стал душиить. Очень уж разозлился: мало того, что чужого мужика в дом привела, так еще и пила с ним водку, которую они на праздники припасли. Вот это коварство особенно разозлило Васю.

Когда Тоня перестала кричать и дрыгать ногами, Вася оставил ее лежать на полу, а сам сел за стол допивать недопитую праздничную водку. А поскольку с горя он открыл и еще одну бутылку, то, когда в комнату вошла милиция, он уже мирно спал.

Отелло из Васи не получился. Тоня оказалась живучей. В больнице ей слепили на шею гипсовый ошейник и сказали, что два пострадавших позвонка срастутся через полтора месяца, а пока придется ходить так.

Васю продержали в милиции три дня, а потом отпустили под подписку о невыезде. Теперь он каждый день ходит к Тоне в больницу, приносит яблоки и безалкогольное пиво, чешет ей под гипс

сом шею карандашом. Она его простила. И он ее простил, все-таки они любят друг друга...

* * *

Юра влюбился заочно. Влюбился в голос. Кто-то привез из города кассету, Юра послушал, и сердце его сладко зануло. Чистый высокий девичий голос пел песенки на незнакомом языке, и Юре представлялись нездешние, обязательно южные, обязательно солнечные и морские края.

Юра носил кассетник с собой повсюду. Пойдет на двор поросят кормить, кассетник на плечо, и неведомая девушка превращает свинюшек в каких-нибудь капибар, идет за дровами для печки, а вместо петуха попугай кричит с поленицы, печку растапливает, а в треске поленьев голоса южных цикад...

Юра очень хорошо представлял себе неведомую певицу: худенькая, с копной смоляных волос, тонкие руки и ноги, улыбка белозубая на загорелом лице. Маленькая, но голосистая!

Юра мечтал накопить денег и съездить за границу. У них в Березовке еще никто не был. Ну, из оставшихся; из тех-то, что уехали и только навещают иногда своих стариков, уже многие ездили. Рассказывают — заслушаешься. Теперь, говорят, за границу просто, не как при советской власти, были бы деньги. Если бы Юра уехал в свое время в город, может, и он давно бы уж съездил куда-нибудь в Грецию или в Турцию... Да не случилось уехать-то, школу не закончил, вот и приходится теперь скотником в соседнем селе. Там хоть телевизоры работают, а тут, в Березовке, ни одна антенна не ловит...

Да ничего, Юра еще молодой, всего-то двадцать пять, может, еще и школу закончить удастся, в райцентре раньше вечерняя школа была, может, работает еще... Но сначала денег накопить и за границу съездить. Втайне Юра вдруг поверил, что может там встретить эту худенькую девушку с чистым высоким голосом. А там вдруг... Юра даже мотал головой и кричал на грязного хряка:

— Чо вылупился, я те поподслушиваю! Ишь какой...

Конечно, вряд ли, да и кто он такой... А все ж таки отчего бы и не погрезить...

Но закончилось всё страшным разочарованием. Юра даже расхотел ехать за границу и поступать в вечернюю школу. Зачем?! Если всё так...

В общем, приехал погостить одноклассник, привез, как положено, бутылочку, да не одну. Юра на стол салца метнул, картошечки, грибков, собственноручно собранных и засоленных. Пили, вспоминали школьные проказы. Когда захорошело, Юра затынул:

— Джама-а-айка, Джамайка...

Приятель засмеялся:

— Надо же, чего вспомнил, ностальжи...

Юра не понял, но спросил:

— Как ты думаешь, сколько ей лет?

— Кому ей?

— Ну, ей, которая «Джамайку» поёт?

— Да эту песню пацан пел когда-то, мальчик — Робертино Лоретти.

— Да нет, погоди! — Юра вскочил, снял с полки кассетник, включил, — вот, послушай!

— Ну да, — засмеялся одноклассник, — это мальчишка. То есть это он тогда, лет тридцать назад, мальчишкой был, а сейчас уж мужик — старый и толстый, ресторан у него в Италии... А ты думал баба поёт?

И тут Юра вдруг понял: голос действительно мальчишеский. Невыносимая печаль снизошла на его душу, и он налил себе полный стакан. И выпил. И еще налил...

А утром, когда проснулся с гудящей головой и тоской в душе, вытащил из магнитофона кассету, вышел на крыльцо, размахнулся, зашвырнул кассету в бурьян за забором и пошел кормить свиней...

* * *

Витя Груздев был в душе авантюристом и романтиком. Он мечтал прыгнуть с парашютом, и чтоб парашют не раскрылся, и он тогда дернет кольцо запасного, но запасной запутается в основном, но в последние секунды Витя мужественно перережет стропорезом нужные стропы, и парашют раскроется. И ужаснувшиеся чуть не случившейся трагедии зрители на аэродромном поле вздохнут с облегчением и встретят Витю как героя. Особенно она...

Она с такой иронией поглядывала на него, на его мешковатую фигуру, очки с толстыми линзами, на неуклюжие движения, что он даже не решился заговорить о любви, не то чтобы предложить выйти за него замуж. А ведь в душе он был, он был... Эх, да что там...

Серым осенним днем Витя приехал с группой первокурсников на аэродром, на него натянули рюкзак с упакованным парашютом, впереди прицепили на карабинах запасной; в который раз напомнили, за что нужно обязательно дернуть, а за что дергать ни при каких обстоятельствах нельзя. Старый «кукурузник» кряхтя разбежался по взлетной полосе, подпрыгнул и, одышливо гудя мотором, набрал высоту. В открытую дверь Витя увидел, как домики аэродрома превратились в спичечные коробки, дорога в ниточку, а широкая река в поблескивающую среди голых осенних квадратиков полей ленточку.

Это было волнующе-красиво, но когда загорелся красный фонарь и заверещал зуммер, Витя вздрогнул, а когда инструктор кивнул ему в направлении двери, под сердцем похолодело. Стоя на краю пропасти, Витя ужаснулся, еще успел заполошно подумать: «Господи, что же я делаю!» — и осознал себя уже болтающимся под белым куполом, довольно быстро несущемся к земле.

Приземляясь, Витя сломал обе ноги. Одну в лодыжке, другую в голени. Помогая грузить его в «скорую», инструктор причитал:

— Не могу понять! На ровном месте, буквально на ровном месте! Не могу понять...

Она пришла к нему в палату в тот же день. Принесла апельсины, бананы и сок. Сказала:

— А я и не знала, что ты парашютист.

Витя не стал говорить, что это был его первый прыжок. А через несколько дней как-то так получилось, что он сделал-таки ей предложение. Она минуту подумала и сказала:

— Только при условии, что бросишь парашютный спорт!

Витя согласился. С радостью...

А Л Я Г Е Р
К О М
А Л Я Г Е Р

* * *

Он был пьян. Той степенью опьянения, когда говорить человек еще может, но слушают ли его собутыльники, уже безразлично. Поэтому я ему верил... Он смотрел в вагонное окно, не видя ни придорожных деревьев, размазано пролетающих мимо, ни пустых переездов с мигающими семафорами, ни дальних колоколенок; и тихо рассказывал:

— В районе Гудермеса попали мы в засаду. Ссыпались с БМПшек, начали отстреливаться. Я прижался к гусенице, постреливаю, а сам о дочке думаю, увижу ли еще... Пулемет над головой грохочет, радист кричит в микрофон, подмогу вызывает, боевики все ближе, уже лица разглядеть можно. Совсем тревожно мне стало, и тут слышу, кричит мне земляк — Виталич, майор, наш уральский: «Беги в кювет! Беги быстро!» Я рванул, скатился в кювет, не успел голову поднять, как в ту самую гусеницу, за которой я прятался, граната из подствольника ка-ак даст! Не уйди я оттуда секундой раньше — конец бы мне непременно! Но ужасно весь в чем? В том, что Виталича еще в первую чеченскую убило и похоронен он у меня на глазах в родной деревеньке... Вот так... Ис-

торию эту только двум-трем близким друзьям рассказал; а так молчу, подумают — сочиняю... А ведь правда, понимаешь? Веришь?!

Я верил, верил...

* * *

Поезд давно никуда не двигался. Он годами стоял на ржавых рельсах, которые прямой линией пересекали Пластилиновую долину. Пластилиновой долину в районе Ханкалы называли за глинистую тяжелую почву, после каждого дождя превращавшуюся в вязкое липкое месиво. А когда стояла сухая жара, над долиной висели клубы мелкой пыли. В плацкартных вагонах поезда устроили импровизированную гостиницу для журналистов. Утром по одному и группами они разъезжались по чеченским городкам и воинским частям, а к вечеру возвращались в свои вагоны на ночлег.

Едва солнце уходило за неровную цепь дальних холмов, по вагонам проходил комендант и проверял, плотно ли занавешены окна со стороны степи. Оттуда по ночам постреливали. В некоторых стеклах ветер насвистывал в аккуратные дырки пулевых отверстий и колыхал байковые одеяла, выполнявшие роль светомаскировки.

— За насыпь не ходите, — с неустанностью попугая то и дело повторял комендант, — там мины. Позавчера там коза подорвалась...

Каждый вечер в купе, где мы бытовали вдвоем с норвежским телевизионщиком Мортонем, приходила молоденькая чешская журналистка Ива и затевала разговор на «политические темы». А главной темой для нее была «Пражская весна».

— Русские — плёхо, — убеждала нас Ива. — Русским Европа никогда не простит подавления Праги, никогда! Русские и Чечню подавляют! Федералы — плёхо! Чечня борется за свободу, а русский солдат их погнетает!

— Угнетает, — флегматично поправлял ее Мортон.

Иногда к нам присоединялись пожилой полковник из военной многотиражки и военный обозреватель из еврейской иерусалимской газеты.

— Ну и как вы тут с чеченцами? — спрашивал еврей полковника.

— Да вот уж лет триста воюем, а вы как там со своими террористами?

— А мы пока лет пятьдесят...

— Вы не должны сочувствовать русским, — обижалась на еврея Ива. — Вы должны быть за свободу Чечни! Федералы плёхо себя ведут! Пригнетают чеченцев, убивают мирных жители!

— А чеченцы федералов шашлыком кормят? — подавал иногда голос и я. — Знаешь, сколько русских людей гниет сейчас в чеченских зинданах?

— Нисколько! — вскидывалась Ива. — Это пропаганда «Московского комсомольца», русские газеты врут! Пропаганда!

— Не наигралась еще, — ворчал потихоньку норвежец, — делит еще мир на хороших и плохих... Ничего, с возрастом это проходит...

— Не проходит! — упрямылась Ива. — Россия дикая страна, всем плёхо делает. И украинских патриотов Россия пригнетает!

— Угнетает... Я, кстати, не так давно работал на Западной Украине, — оживился норвежец, — послушал я речи местных националистов, послушал и сразу стал русский шовинист...

Мы пили коньяк, закусывали тушенкой и говорили, говорили, говорили свои «политические разговоры». Иногда в ночи раздавался взрыв, или выстрел, или длинная очередь. Мы на секунду смолкали, прислушиваясь, и снова выпивали, закусывали и разговаривали...

Незадолго до отъезда Иву взяли на «зачистку». Это, конечно, было против правил. Даже хуже, риск был слишком велик, но полковник отчего-то решил рискнуть. «Зачищали» аул по наводке «федерального чеченца». Предполагалось освободить трех-четырёх рабов. В ауле в пятьдесят дворов из каменных сараев и земляных ям — зинданов — вызволили двадцать пять отощавших, завшивленных, заросших щетиной пленных. И старых, украденных еще до начала войны, и молодых, взятых в плен, солдатиков. Среди освобожденных оказались и три женщины. Битые, регулярно насилованные, в обносках, они затравленно жалась к военным до тех пор, пока их не привезли в Ханкалу. Всю дорогу они плакали и рассказывали, рассказывали, рассказывали о том, что с ними произошло, как их обманом вывезли в Чечню, как продавали и перепродавали...

В тот вечер Ива к нам не пришла. Она лежала на второй полке своего купе и тихо плакала.

— Не надо ее трогать, — останавливал норвежец сердобольных коллег, — пусть поплачет, это полезно, у ней сердце открылось...

* * *

Она была совсем молоденькой, но казалась ему взрослой женщиной, ведь самому-то ему не было еще и восьми. Она была очень красивой, любила все яркое, пестрое. Она часто пропархивала мимо их увитой плющом и виноградом огады, словно большая, веселая бабочка, и всегда улыбалась ему, а один раз остановилась и спросила:

— Когда вырастешь, красавчик, выйдешь за меня замуж?

Он страшно смутился, но сумел храбро ответить:

— Да!

— Смотри не обмани, красавчик!

И потом много дней подряд он все думал со сладким нетерпением в сердце: я красавчик, скорее бы вырасти, скорее бы стать большим...

...Немцы пришли в городок без стрельбы — буднично промаршировали по главной улице и деловито расселились по квартирам. В их небольшую усадьбу вселились офицеры. Сосед оказался сторонником фашистов, и его назначили старостой. Как же его звали? Брицки? Да — Брицки звался этот человек. Он убежал от красных из России. Он белый был и работал на немецкую контрразведку. Приходил к ним в усадьбу — брал книги у отца для больной туберкулезом жены. Жену он очень любил, а она очень любила читать. И он был отцу благодарен.

Однажды пришел к отцу и сказал, чтобы тот бежал. И отец ушел к партизанам; Югославия тогда была наводнена партизанами. Партизанами, которые за красных, партизанами, которые против немцев и против красных, партизанами-мусульманами, партизанами-хорватами... Отец ушел в горы, а они с мамой остались.

Иногда по ночам в усадьбе появлялись какие-то люди и шептались с мамой и работниками усадьбы. Раза два приходил и отец.

А потом убили Брицки; партизана, который

сделал это, ранили и поймали, а жителей поселка согнали на казнь. Они с мамой шли к площади и боялись увидеть, что раненый партизан — их отец. Но партизан оказался незнакомым молодым человеком. Его расстреляли, а потом повесили.

— Сынок, — шептала мама на обратном пути, — если ты будешь кому-нибудь рассказывать, о чем мы говорим в доме, — нас так же повесят.

Тогда он и понял, что слово — это жизнь и смерть!

Вот как раз в те дни ему и исполнилось восемь.

Он не знал тогда, что никогда больше не увидит отца, что после прихода Тито его семья лишится усадьбы, а сам он сбежит из Югославии во Францию, потом в Германию, женится, увидит полмира, переживет и Тито, и саму Югославию...

А девушку арестовали всего за несколько дней до прихода Тито. Даже с синяками на лице и в рваном платье она была красивой. Увидев его в толпе, она едва заметно подмигнула. Ее повесили... Вскоре он забыл ее лицо, забыл, в каких платьях она ходила, голос ее забыл. Но отчего-то на всю жизнь запомнил красные изящные ботинки, в которых она была в тот день. Эти красные ботинки и тонкие изящные щиколотки до сих пор перед его глазами.

* * *

Я был молодым, здоровым и веселым. Я только что сбежал от полиции Франции, которая невзлюбила меня за участие в студенческих волнениях, а во Францию я сбежал из Югославии, где коммунисты невзлюбили меня за то, что мне довелось родиться в зажиточной семье. Но я был молод, здоров и весел, у меня была девушка и вся жизнь впереди. Здесь, в Германии, я учился в университете, жил в бедном студенческом кампусе и дружил со старым профессором. Иногда вечерами мы сидели за кружкой пива, и профессор учил меня жизни. Однажды мы рассуждали о природе страха, и он рассказал мне:

— Было это то ли в сорок втором, то ли в сорок третьем году. В университете проходило какое-то торжественное собрание. После речей ученых на трибуну взошел высокопоставленный фаши-

стский функционер и начал, явно играя под фюрера, выкрикивать патриотическую речь. Все уже поняли, что с Гитлером вышла промашка и война аукнется немцам большим горем. Все смотрели на плотного, сытого и румяного фашиста, и всем было противно...

И тут один молодой немецкий преподаватель встал и демонстративно пошел к выходу. Все считали его опустившимся человеком, он сильно пил, и на кафедре его держали из жалости, как ветерана, лишившегося ног. И тут в зале встал еще один инвалид и тоже пошел к выходу, следом еще и еще. Докладчик замолчал.

И в гулкой тишине зала все сидели и слушали, как они уходят, скрипя и стуча протезами: «хрр-туп, хрр-туп, хрр-туп...» И фашист стоял на трибуне весь потный и красный и понимал, что сделать ничего нельзя. В чем их обвинишь? Они уже отдали за Германию свою молодость и свое здоровье. И им было, в общем-то, нечего терять, кроме жизни. А когда человеку нечего терять, то и жизнь ему кажется уже не столь ценной...

Прошло уже очень много лет, я сам стал старше того профессора, а рассказанную им историю помню до сих пор. Не знаю, чему она меня научила. Но чему-то научила, уж это точно...

* * *

Тогда все только начиналось. Люди как с ума посходили: вчера все равно было, кто ты — русский, украинец, молдаванин, а тут... «Чемодан — вокзал — Россия!» Я работала тогда в совхозе, и нас из Бендер возили на работу автобусом. В автобусе, пока едешь, всякого наслушаешься. У кого сын пропал, кого из квартиры выживают, кому пенсию давать перестали... У соседки моей тоже настоящая трагедия: она русская, он молдаванин. Кричал: уедем в Румынию! Записался в молдавскую полицию. Она каждое утро, пока до совхоза ехали, мне жаловалась: «Что делать — он с автоматом ходит, а сосед, русский, ружье достал. Ни в какую Румынию не поеду, а он в Россию тоже уезжать не желает. И здесь жить стало невозможно!»

И с каждым днем все хуже и хуже. И вот как-то раз приходим к конторе, садимся в автобус, а соседка вдруг говорит: «Не поеду!» Мы ей —

уволят же, без работы сейчас как? Она: «Нет, сейчас соберу детей и уеду в Ростов, к тетке, и будь что будет. Чернота на душе — не могу больше, что-то случится!» Но пока водителя дожидались, она успокоилась и передумала.

И вот едем мы полем, кукуруза вокруг, и вдруг — взрыв! Автобус приподняло и набок повалило. А из кукурузы автоматные очереди. Пять секунд — и тишина. Несколько человек убило и соседку мою. Выходит, чувствовала она. А потом выяснилось, что автобус подорвали и обстреляли молдавские полицейские и муж ее был среди них. Домой он уже не вернулся, тут настоящая бойня разразилась. Слышала я, выжил он и действительно в Румынию попался. Куда дети делись — не знаю.

А соседка мне теперь снится постоянно и во сне одно и то же повторяет: ведь говорила же я вам...

* * *

О том, что в кубрике по работе с личным составом связисты установили спутниковую связь, Макс узнал самым последним. Вернувшись из техразведки, он не пошел вместе со всеми в баньку, а просто завалился с книжкой в койку — вот и пропустил важную весть. И вот теперь он стоял крайним в очереди к тщедушному связисту-срочнику, а стрелка глуповатых в военном помещении ходиков с гирьками-шишками неумолимо отсекала последние часы вечера 31 декабря, с аппетитом съедая время, в которое можно еще дозвониться до родных. Все курили, все слегка нервничали, связь то и дело «падала», на везунчика, быстро дозвонившегося до родной квартиры, смотрели со странной смесью сочувствия и нетерпения — ну все-все, закружляйся... В трубку все орал одни и те же слова с одними и теми же интонациями, оно и понятно — Новый год. Правда, когда один из совсем молоденьких контрактников, засуетившись, пожелал собственной жене «счастья в семейной и личной жизни», все с удовольствием поржали.

Гуманоид — подполковник, замкомандира по работе с личным составом, проходя мимо, дружески похлопал Макса по плечу, фальшиво посочувствовал:

— Похоже, не успеете, товарищ капитан. Ровно в «ноль-ноль» отключаемся. Строжайше... Но, может, еще повезет.

Макс тайно недолюбливал Гуманоида после того, как тот раздул дело о растяжке, которую по собственной инициативе полез снимать Макс новичок-срочник на первой же своей инженерке. Макс, конечно, недосмотрел, но ведь и парень отделался легкой контузией и мелкой сечкой на лице и руках; основной заряд осколков принял на себя и выдержал 17-ронник, который за полчаса до этого Макс буквально силой заставил надеть солдатика...

Гирька ходиков опускалась все ниже к полу, и вместе с ней опускалось настроение в хвосте очереди.

Макс дозвониться не сумел, выпил из «стаканчика» от мины спирта, предложенного Гуманоидом, и пошел в распоряжение. Вот-вот ребята поднимут стаканы с водкой и коньяком, закусят, потом выйдут на защищенный бруствером пятачок расположения и начнут шмалять из автоматов и ракетниц в сырое чеченское небо с криво повисшим узким серпом луны. Но Макса охватила грусть, и он не торопился, бредя потихоньку вдоль укрытий, привычно стараясь держаться в тени.

В лунном просвете между бетонным забором и БТРом его и засек чеченский снайпер. Раздался выстрел, и Макс упал. Тут же со всех сторон раздалась и новогодняя канонада. Особенно усердствовали уральские милиционеры, стосковавшиеся на полубумажной работе в окрестных комендатурах. Макс полежал на холодном бетоне, решил, что снайпер засел на втором этаже школы, что темнела метрах в пятистах. Подумал, что надо бы по-быстренькому зачистить ее, и сам себе возразил — поздно. Чеченца, а может, и не чеченца, может быть, белокурой прибалтийской бывшей биатлонистки уже давно нет в пустой школе. Потом ползком пробрался в тень БТРА и, пригнувшись, добежал до расположения.

Он еще успел к третьему тосту, пострелял вместе со всеми в чужой, совсем не новогодний, пахнущий акацией космос, поорал в эту глухую тьму «ура», пообнимался с тельняшечными распаренными и сентиментальными корешами.

Уснул Макс счастливым и всю ночь разговаривал с женой по телефону. Утром он вышел

на плац, нашел след от снайперской пули на бетонном блоке, но так и не понял, отчего снайпер промахнулся...

* * *

— Смотри, Ваня — Багратион! — Бронзовый генерал высокомерно смотрел на пассажиров, бродящих по перрону, словно хотел выстроить их в стройную шеренгу и отправить куда-нибудь под Бородино, чтоб не шлялись попусту, или на худой конец под Грозный. Иван обошел памятник и присмотрелся к надписи на постаменте:

— Да он, оказывается, родился здесь, в Кизляре. Не знал!

Впрочем, и мы еще утром не знали, что окажемся здесь. Когда на вертолетном перроне в Ханкале нам сказали, что аэропорт в Минводах закрыт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, мы посмеялись: с первым апреля! Но шутка оказалась правдой — аэропорт действительно не работал, и именно с первого апреля; бронепоезд в ближайшие дни не планировался, вертушки тоже летали крайне редко, да и попутного борта из Моздока не ожидалось, зато подвернулась попутная машина до Кизляра, откуда регулярно ходили поезда до Москвы. По дороге машину тормознули у блокпоста кадыровской милиции. Хмурый чеченец открыл водительскую дверь и сердито спросил:

— Почему на спущенных колесах едете?

— Как на спущенных?! — заволновался водитель. Но чеченец радостно заулыбался:

— С первым апреля! Проезжай, дорогой...

Сначала, купив билеты и не зная, как убить пару часов до отправления, мы сидели на скамейке в зале ожидания, потягивали пиво, поглядывали на народ и листали свежие газеты. Но потом у одного из кассовых окошечек заскандалили.

— Да вы что, не понимаете, у меня «груз двести»! — Немолодой, коренастый, по всему видно, бывалый прапорщик тряс перед окошечком кассы бумажкой, и лицо его наливалось красным.

Из окошечка что-то бубнил монотонный женский голос, и прапорщик снова тряс бумажкой:

— Какой спецвагон, вы что, не понимаете, что

у меня «груз двести»?! Спецвагона, может, еще неделю не будет, вы представляете, что я в Ростов привезу, если сейчас не уеду?!

В ответ из окошечка снова раздавалось безучастное «бу-бу-бу». Было видно, что прапорщик доведен до отчаянья, но чем сильнее он нервничал, тем безразличнее становился голос в кассовом окошечке.

Смотреть на это было неприятно, вот мы и вышли на перрон. Тут легкий апрельский ветерок гонял по ровно выложенной плитке мелкий сор, птицы щебетали в акациях, Багратион строго смотрел на пассажиров со своего постамента. Пахло расставанием и возвращением; и хотелось уже забыть и Грозный, и пушки за «Волчьими воротами», и вертолетный гул, и пыльную многолюдную Ханкалу — хотелось домой...

Устроившись в купе и дождавшись, когда поезд тронется и проводник проверит билеты, мы отправились в вагон-ресторан.

Свободные места оказались лишь за одним столом; одно место у окна занимал тот самый давешний прапорщик. Он уже пообедал и сидел теперь над бутылкой водки, расслабленный и раскрасневшийся.

— Как же вам удалось уехать? — с сочувствием в голосе спросили мы, попросив разрешения присесть за стол.

Прапорщик сочувствие оценил и ответил:

— А я солдатикам приказал внести «ящик» в зал ожидания и сказал начальнику вокзала, что ос-

тавлю его здесь, а сам вернусь в Грозный. А взятку не дам! Так что погрузили как миленькие и еще платочком помахали вслед...

— А кто... ну, там... — нерешительно спросил деликатный Иван.

— Контрактник один из Ростова. Молодой паренек... Машина под Аргуном с моста упала; мосты-то сами, наверное, видели какие там.

— А почему вы думаете, что с вас пытались взятку стянуть?

Прапорщик усмехнулся:

— Эх, знали бы вы, сколько раз мне пришлось «груз двести» сопровождать. Не зря в народе говорят: кому война, а кому мать родна. Знаете, сколько вокруг войны паразитов? И с нашей стороны, и с той. За деньги все можно. Хотите, вас на вертушке в Грузию доставят, хотите, любое оружие продадут. Эх, да что там...

Все, что говорил прапорщик, было прекрасно известно нам, настолько известно, что уже не вызывало эмоций. И Ваня сформулировал то, что было на душе:

— Да ладно, на живом солдате все стараются заработать, ладно. Но на мертвом-то грех!

— Мертвые сраму не имут, — почему-то сказал прапорщик. И почувствовав, что сказал не то, махнул рукой: — Да чего уж там, какая жизнь, такая и смерть! В смысле — им все равно...

Где-то в составе стучал колесами грузовой вагон, в вагоне покачивался в такт движению «груз двести», и ему действительно было все равно... □

Александр ЛОМТЕВ

родился в 1956 г. в с. Суворово Нижегородской обл.

Писатель, журналист, график.

Автор книг «Путешествие с ангелом», «Ундервуд»,

«Книга памяти Нижегородской области (Том о локальных конфликтах)»,

«Дорога длиной в век» и т.д.

Лауреат премии «Имперская культура» Союза писателей России,

финалист Бунинской премии 2008 г.,

лауреат премий Союза журналистов России,

«Патриот России», «Золотой гонг» и др.

Живёт в г. Сарове.

